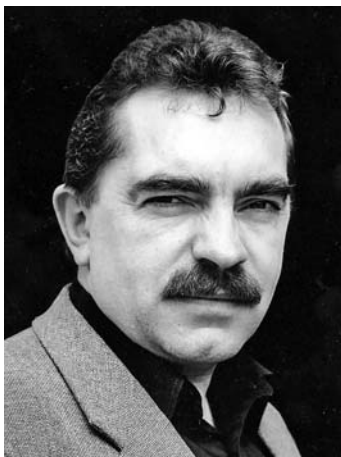


АЛЕСЬ БАДАК



ПО ТУ СТОРОНУ ОТРАЖЕНИЯ

Мой дядя Юзик был сумасшедшим. О родстве с такими обычно говорят неохотно. Хотя, если собрать всех сумасшедших мира, получилось бы целое государство. И кто знает, может, это был бы наилучший пример всеобщей гармонии (пусть себе в пределах одного государства), к которой человечество всё время и пока что безуспешно стремится...

Надо сказать, были дни, когда разум к дяде возвращался, наполняя собой его сознание так же незаметно и неожиданно для всех нас, кто с ним жил, как бесплодные после грозы тучи вновь наполняются дождём. Тогда — обычно такое случалось во время наших прогулок по берегу Свислочи, рядом с которой, на улице Янки Купалы, мы жили, — дядя часто рассказывал про моих близких и дальних родственников, живых и умерших. И хоть некоторые истории были слишком уж невероятными, чтобы в них сразу поверить, слушая его, я не раз повторял самому себе: “Порой Бог, давая человеку мудрость, взамен забирает у него разум”.

Одну из тех историй я помню и сегодня, хотя прошло уже девятнадцать лет, как дядя покинул этот мир, так и не найдя свой дом, разбомблённый немецкой авиацией в последнюю войну, на поиски которого на берег Свислочи он отправлялся почти ежедневно, со мной или с кем-то другим.

БАДАК Александр Николаевич родился в 1966 году в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Работал в периодических литературных изданиях. Теперь – первый заместитель директора редакционно-издательского учреждения “Литература и Искусство”, главный редактор журнала “Нёман”. Автор многих книг поэзии, прозы, активно работает в жанре детской литературы. Живет в Минске.

У дяди Юзика, кроме моего отца, был ещё один родной брат, Василь, старший из всех детей Опанаса Матусевича и Марии Загорской. Год рождения Василя Матусевича — 1908-й — мне запомнился легко и на всю жизнь, поскольку как раз тогда в шестиэтажном отеле “Европа” установили первый в Минске лифт, а мой дед по отцовской линии имел непосредственное отношение к этому знаменательному для города событию. Да и сам я сегодня, в некоторой степени, отвечаю в том числе и за лифтовую систему столицы.

Вообще, в нашем роду все мужчины имели дело или с техникой, или со строительством, кроме дяди Василя. Он писал стихи. Этому предшествовало раннее взросление, которому сильно поспособствовало время, один за другим посылающее на Минск вихри перемен, вызванных, с одной стороны, Первой мировой войной, с другой — российской революцией. Горожане ещё только начинали привыкать к большевистским лозунгам, которые так же легко было прочитать по их лицам, как и на кумачовых плакатах, однако менее чем через четыре месяца после провозглашения того, что вся власть в Минске перешла в руки городского Совета рабочих и солдатских депутатов, в ночь с 18 на 19 февраля 1918 года большевики город вынуждены были оставить, а через два дня сюда вошли немцы.

После капитуляции Германии перед Антантой и вывода её войск с захваченных территорий, в декабре восемнадцатого года большевики возвращаются в Минск, чтобы 8 августа следующего года снова оставить его — уже, правда, полякам. Однако через месяц поляки отдают город назад большевикам, но 15 сентября 1920 года заявляют сюда ещё раз, ровно на неделю, окончательно сбив с панталыку горожан, которым в этом военном и политическом кавардаке рехнуться было легче, чем сохранить ясный ум. Наконец, чем-то ненормальным (хотя на самом деле это, наоборот, свидетельствовало о начале выздоровления нации) кое-кому казалось тогда другое.

В начале двадцатых годов самопровозглашённых поэтов в Минске было столько, что у впечатлительного Купалы, который ещё недавно в отчаянье писал: “белорусы никого не имеют” и которого могло необычайно расчувствовать появление очередного нового таланта, глаза не успевали просыхать от слёз радости. Правда, подавляющее большинство поэтов были приезжими провинциалами из деревень и местечек. Их было так много, что создавалось впечатление, будто единственное, что мешало белорусам превратиться в писательскую нацию, — неважное владение жителями крупных городов белорусским языком.

По крайней мере, Василю Матусевичу это обстоятельство, да ещё прирожденная скромность и вправду загородили дорогу на страницы газет и журналов. Выслушав как-то в одной из редакций достаточно жёсткую критику на свои стихи, он перестал даже записывать их на бумагу, а носил в себе отдельными, нередко незавершёнными строками, которые в нём рождались и умирали быстрее, чем меняется небо в ветреную погоду, и так часто меняли свой смысл, что казались бессмысленными. Воображаемый мир, созданный поэтическими образами, и мир реальный в голове его перепутывались, и часто было не понять, в каком из этих миров рождались мысли, когда он говорил:

— Я сегодня видел человека с двумя языками. Одним он слизывал огонь с остатков уничтоженного костёла, который сам же и спалил вместе с товарищами, а другим утешал мать.

Василь не знал, что от рифмованных образов время от времени надо избавляться, отдавать их бумаге, иначе в голове их станет слишком много, и уже не ты будешь управлять ими, а они тобой. Так и случилось.

“Ему двадцать три года, а его совсем не интересуют женщины”, — жаловался отец и, зная, что ключ от чужого сердца легче найти в столе, чем на кончике языка, однажды открыл ящик сына стола, но не нашёл в нём ничего, кроме папки с газетными вырезками и большим портретом Купалы сверху. Это были стихи и статьи поэта, интервью с ним, короткие сообщения о том, где и когда он выступал. А под кипой вырезок лежала тетрадка, на первой странице которой было записано:

“26.04.30.

Я всё время сдерживал себя от того, чтобы вести дневник, но который день ношу в себе, под сердцем, без малого как беременная женщина, сказанное Им после того, как я, вместе с другими, помогал Ему спасать домашний скарб от наводнения. Он сказал: “Спасибо, миленький!” И когда я, разволновавшись, ватными губами прошептал: “Я Вас так люблю”, Он обнял меня и повторил: “Спасибо, миленький, спасибо!”

В те весны Свислочь в Минске любила показывать горожанам свой норов, затапливая многие дома, в том числе, и дом Купала на Октябрьской улице. Охотников помочь поэту с временной эвакуацией (хоть при этом, чаще всего, имущество всего лишь поднималось на чердак), и правда, всегда хватало, особенно среди молодых поэтов.

Про папку и дневник, найденные в ящике стола, отец Василию не сказал, а все попытки поговорить с сыном о его личной жизни ничего не дали. Василь ещё больше замкнулся в себе и только Юзику как-то признался:

— Порою мне кажется, что у меня два сердца. Одно наяву, а другое во сне. И я не знаю, какое из них настоящее, и где я настоящий. Только знаю, что во сне я совсем другой, даже внешне, хоть и никогда себя там не видел. Но если бы я мог взять туда с собой зеркало...

Вскоре после этого он купил на базаре и повесил на стене возле своей кровати большое зеркало, которое помнило лица не одного поколения бывших хозяев, но никак не мог забрать его с собою в сны.

20 ноября 1930 года страшная весть облетела Минск: Купала хотел покончить жизнь самоубийством и порезал себя перочинным ножиком. Встревоженный, испуганный Василь весь вечер не поднимался с постели. Он плакал. А ночью ему приснилось наводнение на Свислочи. Задышавшись, он прибежал к купаловскому дому, куда подступала вода. Как ни странно, Купала был один, даже без жены, тётки Влади, и совершенно равнодушный к тому, что творилось с рекой. Левой рукой он держался за живот, пряча рану, словно хотел, чтобы её никто не видел. “Наводнение! — закричал Василь во сне и наяву, разбудив Юзика. — Иван Доминикович, вода затопит ваш дом! Надо выносить вещи!” — “Ну, что ж, — спокойно сказал Купала, — если хочешь, выноси”.

Свободной рукой он взял нечто, что стояло у стены, и протянул Василию. Василь обеими руками схватил предмет и только тогда понял, что ему подал Купала: это было зеркало, в котором он увидел себя...

Той же ночью, так и не освободившись от своего сна, Василь умер.

Мне казалось, что требовать от дяди доказательств правдивости этой истории, в которую я сам мало верил, по меньшей мере некрасиво, учитывая его состояние. Поэтому я сказал достаточно неопределённо:

— Это просто невероятно, и не каждый в такое поверит.

Дядя долго молчал, а потом проговорил:

— Перед тем, как внести в квартиру гроб, мама завесила тёмным платком зеркало. А ночью я не выдержал и отвернул край платка. Я увидел в зеркале живого Василя. Только лицом он был как-то не похож на себя. Если бы у нас была сестра, я бы подумал, что это она смотрела оттуда на меня. Но что меня поразило и испугало — Василь был там радостным! Не улыбался, но весь светился. Я аж отскочил и, пока не сняли платка, к зеркалу больше не подходил.

Дядя снова помолчал, а потом сказал:

— Когда-то я тоже увидел себя во сне в зеркале. И мне кажется, что я тогда навсегда остался там. Так и живу — во сне и в зеркале.

Я знал, когда это случилось. 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, дядя тоже плакал. А на завтра поехал в Москву, не подозревая, что каждый, кто тогда попадал на Трубную площадь, уходил с неё другим человеком. В день похорон он попал в самую давку, в которой погибли люди. Обезумевшая от горя и любопытства толпа пронесла его сквозь земное чистилище, и когда он через неделю вернулся домой, глаза его светились кротостью, словно перед ними раскрылись тайны рая.

Надо сказать, что я и сегодня не очень-то верю в эти истории с зеркалом, которое теперь висит в моей спальне на стене, в своей стадии переступив тот рубеж, когда каждая новая трещина на деревянной рамке только добавляет ему красоты. И всё же, когда, ложась спать, я думаю о том, что в снах можно увидеть кого угодно, но не себя самого, моё сердце начинает биться сильнее. Может, потому, что теперь мне очень тяжело и кажется, что я вот-вот не сдержусь и заплачу...

Перевод с белорусского Андрея Тявловского